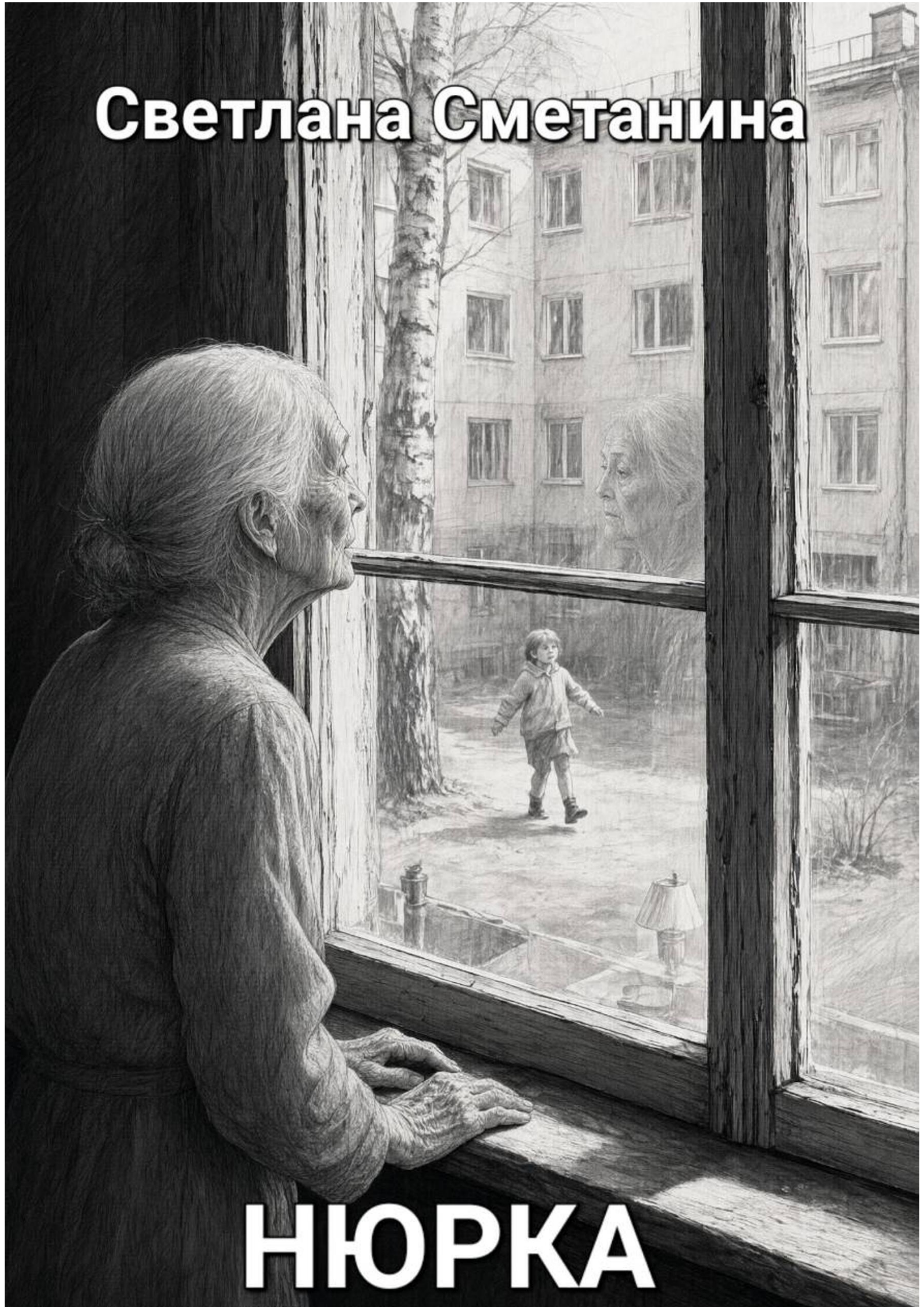
Светлана Сметанина



НЮРКА

Светлана Сметанина

Нюрка

«Автор»
2026

Сметанина С.

Нюрка / С. Сметанина — «Автор», 2026

В центре повествования - история Анны, или просто Нюрки, чья жизнь вместила в себя почти целый век. Главная героиня перешагнула девяностолетний рубеж: сегодня ей девяносто два года.Сквозь десятилетия Нюрка проносит несгибаемый русский стержень. На ее долю выпадают все главные испытания эпохи: изнурительный труд, повседневная работа по сохранению семьи. В свои девяносто два года, сидя у окна она с абсолютной, кристальной ясностью понимает главное: жизнь прожита не зря. Она была прожита так, как должно - в честном труде, в любви и в глубокой, не показной связи со своей землей.«Нюрка»- это эпопея о судьбе одной русской женщины, в которой, как в капле воды, отразилась судьба целого поколения. Это пронзительное размышление о том, из чего на самом деле складывается человеческое счастье и что оставляет после себя человек, у которого нет ни счетов в банке, ни высоких званий, но есть чистая совесть и благодарная память детей и внуков.

© Сметанина С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 9
Конец ознакомительного фрагмента. 12

Светлана Сметанина
Нюрка

Глава 1

ДЕТСТВО

1934 год. Урал.

В ту осень, когда земля под щедрыми дождями налилась тяжелой, багряной тоской, в глухой деревушке, прижавшейся к скалистому боку горы, родилась девочка. Такая светлая, что казалось, будто в смуглую, пропахшую дымом и кислым тестом избу заглянул сам ангел. Кудряшки на ее голове были не просто русыми - они отливали старым золотом, а глаза, еще бессмысленные, младенческие, уже смотрели на мир с какой-то пронзительной, недетской глубиной.

Отец, Степан, и мать, Анастасия, были землей рождены и землей кормлены. Простые крестьяне, чьи ладони задубели от мозолей еще до их свадьбы. Их жизнь измерялась не годами, а урожаями. Едва светало, они уже уходили в колхоз - гнуть спины на бесконечном сенокосе, пока июльское солнце не начинало нещадно жалить затылок, а потом до глубокой ночи грохотать деревянными лопатами на току (это место хранения и сушки), переворачивая тяжелое, дышащее теплом зерно. Домой они приползали затемно, когда над деревней повисал густой, синий, пахнущий прелой листвой и остывающей пылью мрак.

Их изба, срубленная еще дедом Яковом, держалась на честном слове и вековой смоле. Дед был мужиком-кремнем, с окладистой бородой и руками, пахнущими свежим сосновым срезом. Для всей округи он был палочкой-выручалочкой: кому баньку под венцы подведет, кому ладный комод сколотит, а деревенским ребятишкам к зиме мастерил такие деревянные санки, что они летели с угора быстрее ветра, только полозья свистели.

Нарекли девочку Анечкой, но ласковое имя на ее тонких плечиках не удержалось. Жизнь быстро стянула его суровой ниткой, превратив в простецкую, колючую Нюрку.

Анюта-ангелочек родилась в тугой узел большой крестьянской семьи. Перед ней топтали землю два старших брата - уже мужички, хоть и с цыпками на коленях, а следом, один за другим, словно грибы после дождя, народились еще пятеро. Жизнь в избе превратилась в вечный, гулкий улей, где пахло пеленками, скисшим молоком и мокрой овчиной.

Ей не выпало ни золотого детства, ни времени на слезы. Как только Нюрка научилась твердо стоять на ногах, детство для нее закончилось. Старшая из сестер - это приговор, подписанный самой бедностью. Она стала хозяйкой там, где еще сама нуждалась в мамкиной юбке. В четыре года - подать братьям деревянные ложки. В шесть - таскать в чугунке воду из ледяного колодца, пока пальцы не синели. В семь, когда началась война - мять в деревянном корыте серое, тугое тесто, которое липло к подолу. В восемь - пасти на выгоне облезлую корову и носить воду полными ведрами, от которых надламывалась тонкая спина.

«Кушать было нечего вовсе. Какая там мука - мы про нее не помнили. Мать в квашню чуть-чуть мучицы на донышке, а остальное - лебеда, крапива, пистики полевые, сушеная кора. Перемешаешь эту зеленую кашу, слепишь лепешки и на печь. Они на зубах хрустят, как стекло, и землей пахнут. Молоко свое было, пока корова от бескормицы не пала, - его по глотку детям делили».

- А, что же из сладкого?

- А из сладкого… Господи, из сладкого у нас была сушеная морковь. Желтые, скрюченные кружочки, которые мать в печи томила. И яблоки-дички, на нитку нанизанные, до деревянного звона высохшие. Мы их сосали долго-долго, как леденцы, пока язык не заноет. А

сахар… Сахар - это было чудо. Настоящий, колотый, желтоватый рафинад нам давали раз в год, на Октябрьскую. Отец принесет с колхозного склада маленький синий кулечек. Мать не станет его в чай крошить - куда там. Разложит на столе чистые тряпицы, возьмет тяжелый отцовский молоток -тюк! тюк! - и разнесет этот сахар в мелкую, сверкающую пыль. Каждому по два-три крохотных, прозрачных стеклышка. И мы были радехоньки. Сидим на печи, положим этот кристаллик на язык, и ничего больше в целом мире не надо. Сладко так, что слезы из глаз текут, и голова кружится.

- А спали где? Кровати какие были?

- Спали мы всей малышней на палатях. Это настил такой деревянный, под самым потолком, у трубы. Там жарко, воздух густой, тяжелый, семью разными запахами пропахший. Мы лежали там вповалку, как щенки в логове. Младший к старшему прижмется, кто-то в бок коленкой пихнет, кто-то во сне заплачет. Сверху от трубы печной жар идет, а снизу, с пола, могильным холодом тянет. И лежишь, слушаешь, как вьюга в трубе воет, как отец тяжело во сне дышит, как корова в хлеву переступает. И кажется, что весь мир — это вот эти горячие доски над головой, эта сумка с казенными деньгами в сенях и бесконечная, белая, ледяная дорога, по которой завтра снова придется ехать одной. И не было в этом ни жалости к себе, ни слез — только глухая, привычная тяжесть, с которой мы, кажется, и родились. Просто зима. Просто жизнь. Просто нужно выжить до первой проталины.

Шли годы… Нюркины ладони, созданные для того, чтобы держать василек или поглаживать кудрявую прядь, покрылись цыпками и твердыми, как подошва, мозолями еще до того, как выпали молочные зубы. Вся работа по двору, по дому, по хозяйству пала на ее узкие плечи. Она научилась засыпать сидя, уронив голову на край теплой печи, и просыпаться от того, что мать тихо, чтобы не разбудить младших, ставила ей в руки подойник.

Школу она променяла на вечную каторгу домашнего труда. Урывками, между полосканием белья в ледяной речке и прополкой бесконечной картошки, ей удалось одолеть лишь три класса. Букварь, пахнущий свежей типографской краской, стал ее единственной сказкой. Она выводила пером буквы, сидя на холодном крыльце, пока закатное солнце не падало за зубчатый край тайги. А потом чернила в ее школьной баночке замерзли навсегда.

«Отец у нас, Степан, был мужик суровый. Не злой, нет - душа у него не гнилая была, - а именно злющий на жизнь, на вечную нехватку, на тяжелый колхозный труд, который выпивал его до капли. Лицо всегда темное, брови сведены, слова лишнего не скажет, а если скажет - то как гвоздь в доску вобьет. Строгий был до одури.

А я ведь дите. Мне хоть и двенадцать зим на плечах, а в груди-то воробей скачет. Хочется побаловаться, дурь свою легкую куда-то деть. Окно в горнице по лету распахнуто, духота стоит, мухи жужжат. И придумала я себе забаву.

Вылезу тихонько на подоконник, босыми ногами нащупаю завалинку, вцеплюсь пальцами за нижнюю перекладину рамы - дерево теплое, чуть липкое от старой краски - и спрыгну в лопухи. Обегу избу кругом, пока никто не видит, и опять - хвать за раму, подтянулась, перекинула ногу и сижу королевой. Отцу это, конечно, поперек горла. Выглянул он раз, лицо чернее тучи. «Ну-ка, — говорит, — Нюрка, не балуй! Оторвешь мне створку, выдернешь раму-то! По бревнам лазать удумала!»

А во мне бесенок сидит. Кивнула, да сделала по-своему. Только он за угол зашел — я опять на подоконник. Только на этот раз пальцы соскользнули, или дерево от старости не выдержало. Хап я за раму всей тяжестью, а она, родимая, вместе с переплетом и стеклом из проема - шварк! И я за ней. Не успела даже испугаться, как лечу спиной прямо в густую, колючую полынь. Грохот стоял - как будто телега перевернулась. Стекло - дзынь-дзынь-дзынь - мелким дождем вокруг меня осыпалось. Лежу я в траве, в ушах звон, плечо огнем горит, а перед глазами - небо в острых, торчащих из рамы осколках.

Сердце в пятки ушло. Думала — все, забьет сейчас. Степан за раму в своей избе - это не просто убыток, это предательство. Я, сопля, его труд, его плотницкий навык, его покой на куски разбила. Бегом, пока не сцапали, в сарай метнулась. Заскочила в самый дальний угол, зарылась в стог прошлогоднего сена с головой. Только макушка торчит. Сижу, не дышу. Колко, пахнет сухой травой и мышами, а меня колотит так, что сено вокруг ходуном ходит. Зуб на зуб не попадает. Слушаю: вот сейчас затопает, сейчас ремень снимет с портков, сейчас ка-ак влетит… Время тянется, как смола, а в избе тихо. Только коза в закутке переступила да муха в паутине бьется.

Думаю, может, не заметил? Может, решил, что стекло само треснуло от жары? Слышу -шаги. Тяжелые, шаркающие. Дверь сарая со скрипом пошла. Я в сено вжалась, глаза зажмурила, сейчас жгучая боль по спине полоснет.

Склонился надо мной отец. В полумраке лицо его еще страшнее кажется. Смотрит сверху вниз. Я зажмурилась, жду удара, а он только вздохнул так тяжело, что у меня внутри все оборвалось. Голос хриплый, но уже без вчерашнего железа:

- Жива? - спрашивает отец.

- Угу, - мычу сквозь слезы, и сено изо рта выплевываю.

Он помолчал, посмотрел на мои грязные коленки, на расцарапанную руку. Потом сказал глухо, в сторону:

- Ничего. Отремонтирую. Иди в избу. Не реви, Нюрка.

Развернулся и пошел. Ни ремня, ни крика. Только раму на плече унес, как покойника. А я еще долго сидела в сене, боясь поверить. И поняла я тогда страшную вещь: отец не потому не побил, что добрый. Ему просто было не до меня. У него на эту проклятую раму, на то, чем закрыть горницу от ночного холода, сил душевных уже не осталось. Он ведь еще однорукий был, на молотилке руку ему оторвало. И от этой мысли - что у него сил нет - стало мне страшнее, чем от любого ремня. Я ведь не просто стекло разбила. Я у него кусок его измотанной жизни отняла».

В двенадцать лет Нюрка уже была старухой. Маленькой, золотой, кудрявой старухой с выцветшими от вечного солнца и слез глазами, в которых навсегда поселилась тихая, безропотная грусть. Она не знала, что бывает другая жизнь, где дети смеются просто так, а не потому, что отец выстругал им новую свистульку. Она знала только одно: чтобы большая семья выжила, кто-то должен стать ее немым, согнутым хребтом. И этим хребтом стала она.

«Бабушку я помню не словами, а руками. Только она меня и любила во всем белом свете, жалела мою непутевую долю. Сядет вечерять, притянет к себе, костяным своим гребешком по золотым кудрям водит. Гребень деревянный, зубья частые, а в ее руках — легче пуха. Головушку мою гладила, сухонькой ладонью по виску проведет, и вся усталость дневная, вся мозоль на плече от коромысла куда-то уходит. А сама приговаривает, песенки напевает - старые, колыбельные, которых я больше ни от кого не слышала. Заплетет косички туго-туго, чтобы вшей не было, бантики из ветошки завяжет, поцелует в макушку и перекрестит. В ее руках я снова становилась той самой Анечкой, а не вечной Нюркой-работницей. А как подросла, так и вовсе про детство забыла. Мы с ребятами на горке пропадали. Санки у меня были - загляденье. Это дед Яков, светлая ему память, постарался. Не детские игрушечки, а настоящий ковчег: доски широкие, полозья железом подбиты, спинка высокая. Мы туда впятером, как сельди в бочку, набивались, друг на друга валимся, визжим. С горы летели так, что в ушах свистело, дух захватывало, морозный воздух до костей пробирал. А вот обратно, в гору… Тут веселье и кончалось. Снега по колено, ноги разъезжаются, дыхание сперло. Тяну эту тяжеленую махину за веревку, а мальчишки сзади идут, посмеиваются в свои варежки: „Ваши сани, Гусельниковы, вы и тащите“.

И тащила. Молча, до черных пятен перед глазами, потому что знала - если я их не затащу, завтра снова на горку не в чем будет сесть.

За эту фамилию нас «гусями» и дразнили. Гусельниковы.

Идешь по деревне, а мальчишки с забора кричат: «Вон, смотрите, гуси идут, шеи вытянули!». Обидно было до слез, до сжатых кулаков. Хотелось крикнуть, что мы не гуси, мы люди, у нас кровь горячая. А потом махнешь рукой, улыбнешься через силу и пойдешь дальше, переваливаясь с боку на бок, как они и дразнили. Лишь бы не зареветь при них.

А однажды мы с подружкой Лидкой за земляникой на угор ушли. Лето стояло - ягода крупная, алая, дух от нее на весь лес. Лидка - девка хозяйственная, с эмалированным бидончиком пришла. А я, глупая, банку трехлитровую стеклянную прихватила, веревкой через плечо перекинула. Идем, смеемся, кузнечики в траве трещат, солнце сквозь сосны пятнами играет. Дурь в голову ударила - наперегонки побежали. Я на корень сосновый наступила, нога поехала, и полетела я прямо на свою банку.

Грохот стоял такой, что птицы с веток сорвались. Лежу я на мху, колени в кровь, ладони сбиты, а под грудью - хрустальное крошево. И такая меня тоска взяла, такая обида на весь белый свет подступила - хоть вой. Солнце светит, ягода манит, а у меня ни посуды, ни слез сдержать. Сижу на земле, реву в голос, осколки в пальцах ковыряю. Думала, что Лидка сейчас посмеется, бидончик свой подхватит и уйдет. А она села рядом, обняла меня за плечи, по волосам, как бабушка, провела и говорит: „Ну чего ты, Нюр? Не плачь“.

Мы с ней тогда ее бидончик в две руки за час набрали, до самых краев с горкой. Домой шли — она впереди, я сзади. Думала, сейчас до калитки дойдет и разминемся. А Лидка у ворот остановилась, сняла крышку, запустила пятерню в теплую, пахнущую солнцем ягоду и половину, до самого донышка, мне в подол отсыпала. И столько в этом простом жесте было тихого, настоящего добра, что у меня вся обида в горле растаяла. Стою, смотрю на эти ягоды в грязном подоле, а слезы снова катятся, только уже не от горя, а от благодарности».

А зимой, когда Урал заметало так, что избы по самую трубу в сугробах тонули, на меня свалили еще одну ношу, от которой взрослому мужику впору было бы поседеть. Доверили пенсию.

Не только своим старикам в нашей деревне, а по соседним - за пять, за семь верст. Отец с утра пораньше запряжет нашу единственную колхозную лошаденку - кожа да кости, пар из ноздрей столбом, а в глазах такая же вселенская тоска, как у людей. Посадит меня на широкую лавку-розвальни, укроет дерюгой, сумку с деньгами и ведомостями через плечо перекинет. И отправляет одну.

«Смотри, Нюрка», - скажет строго, а глаза прячет, сам боится. - Не балуй. Лошадь береги. До темноты обертайся».

И я еду. Звенит уздечка, скрипят полозья по мерзлому насту, а вокруг - лес. Черный, зубастый, молчаливый. Ели под тяжестью снега согнулись, как сгорбленные старухи, дорогу переметает поземка. Мороз за ворот лезет, щеки стынут до кости, а в лесу волки воют. Идет лошадь шагом, тяжело, с храпом, а мне одной в этих санях, посреди белой, мертвой пустоты, так страшно бывает - дышать больно. Кажется, вот сейчас треснет ветка, выйдет из чащи зверь, или просто замерзнешь прямо в пути, и никто не найдет до весны. Но гонишь этот страх, закусываешь губу до крови и едешь. Помогать надо было. За эти поездки, за эти ледяные версты нам с отцом трудодни шли, а трудодень - это горсть муки, это жизнь.

Глава 2

В няньках

А на тринадцатое лето, когда трава на уральских лугах поднялась в пояс, в нашу избу, пропахшую кислой капустой и потом, приехал дядя Ваня. Брат мамин, городской. От него пахло не навозом и печным дымом, а чем-то чужим, железным и сладким — папиросами и одеколоном. Костюм на нем городской, шляпа, а на ногах — туфли скрипучие, начищенные до блеска.

Сидит за столом, чай из блюдца прихлебывает, на меня поглядывает. А потом, как обухом по голове:

«— Слышь, Настасья», — говорит матери, а сам в сторону смотрит. — Давай Аньку-то заберу.

Мать так и замерла с половником над чугунком.

— Куда заберешь, Иван? У нее вон братьев сколько, ей самой кусок нужен.

— В город заберу. Там сейчас, после войны, няньки — первый товар. Детишек полно, а смотреть некому. Устрою ее в приличную семью. Вам на один рот меньше, а ей… ей там получше будет. Свет посмотрит, человеком станет.

И забрал.

Я за телегу его цеплялась, пальцы в занозах оставляла, ревела так, что, казалось, легкие выплюну. Тринадцать годков всего стукнуло, какая из меня нянька? Мне бы еще к мамкиному боку прижаться, в ее передник носом уткнуться. А меня, как щенка ненужного, в чужие руки сдали. Ехала я, всю дорогу в небо смотрела и свет проклинала. Худо ли, бедно ли, а дома — мама. Дома — стены родные, пусть и щелястые. Дома я своя. А тут — чужая земля, чужая пыль.

В городе он меня и правда к хорошим людям пристроил. Хозяин — мужчина видный, солидный, на большом заводе каким-то начальником работал, все в габардиновом костюме ходил, часы на руке золотые. Жена его — белотелая, ленивая, в шелковых халатах по квартире скользила, сама вроде и не работала, а нянька им все равно понадобилась.

Люди оказались добрые, не измывались. Кров выделили — узкую, но чистую койку в закутке за шкафом, свой угол. Ели мы за одним столом, правда, я всегда после хозяйских детей, когда они уже ложками постучат. Я им кашу варила — такую, как мать учила, чтобы комочков не было, на молоке, с маслицем. С коляской по городскому скверу гуляла, где вместо елок подстриженные кусты растут, а воздух пылью пахнет, рядом новый дом культуры выстроен и фонтаны. Дите качаю, а сама на окна домов смотрю, на чужую жизнь.

И деньги давали. Немного, медью, но свои. Я их в чулок, на самое дно прятала. Экономила на дороге. Дядя Ваня в другом районе жил, на другом конце города. Я пешком шла, через весь дымный, гудящий город, ноги в кровь сбивала, лишь бы на кондукторскую копейку не тратиться. А на эти сбереженные грошики куплю на почте конверт, марку и листок бумаги, сяду в их чистенькой уборной, где пахнет хлоркой, и пишу маме. Буквы вывожу кривые, слезами бумагу моча. Письма шли долго, неделями, а ответа все не было.

Как-то раз, года через два, чудо случилось. Мама приехала. Сама. Сердце у меня зашлось — думала, все, кончились мои мытарства. Сейчас обнимет, скажет: «Собирайся, Нюрка, домой поедем. Хватит, на чужих ишачила». Я всю избу вылизала, пока хозяева на работе были, кашу самую вкусную сварила, жду.

А она приехала, посидела на краешке стула. Посмотрела, как я живу, как поправилась немного, как платье на мне городское, не свое. Хозяйка ей чай налила, сахар внакладку положила. Мама посмотрела на этот сахар, на белые занавески, вздохнула тяжело и говорит:

— Ну вот, Анюта, и хорошо тебе тут. Сыта, под крышей. А нам там… нам там одним тебя не вытянуть. Ты уж тут будь, помогай людям.

И уехала.

У меня внутри что-то оборвалось и с грохотом упало. Она меня не просто не забрала. Она меня «оставила». Утвердила, что я — отрезанный ломоть, придаток, лишний рот, который удачно пристроили. Я ей тогда вслед улыбнулась, не показала досады своей, помахала, а как только за ней калитка закрылась, я в уборную метнулась. Заперлась на щеколду, села на край холодной ванны и завыла. Тихо, в голос, кусая кулак, чтобы хозяйка за стенкой не услышала. От обиды выла, от того, что мамка моя родная меня на белые занавески и чужой сахар променяла.

Так и жила там несколько лет. Днем — чужая каша, чужие пеленки, чужой смех. А ночью — скомкаю подушку, прижму к животу, чтобы теплее было, и смотрю в темноту. И снится мне не этот городской сквер с фонтанами, а наша завалинка, поросшая спорышом, и рука деда Якова, гладящая по голове. И понимала я, что детство мое не просто кончилось — его у меня отрезали и выбросили, как старую телегу на слом. А я осталась. Жить. На чужом берегу, где даже плакать приходилось тайком, за закрытой дверью.

Так еще несколько лет кануло. Городская жизнь, поначалу казавшаяся ледяной пустыней, понемногу обрастала плотью, привычками и даже своим, горьковатым уютом.

Я успела сменить семью. Перешла к другим людям — там платили побольше, медью уже не звенели, а бумажки давали, и люди подоброе оказались, без хозяйского высокомерия. Хозяйка, приметив, что я совсем отощала и одежонка на мне висит, как на огородном пугале, сама повезла меня на барахолку. Купили мне первое в жизни настоящее городское платье — не с чужого плеча, а ситцевое, в мелкий цветочек, и туфли на каблучке-рюмочке. Когда я впервые вышла в них на улицу, стуча по брусчатке, мне казалось, что я лечу. Ноги сами несли, а прохожие, чудилось, смотрят на меня не как на прислугу, а как на девку.

А потом жизнь сделала резкий, долгожданный поворот. Приехали братья. Сначала старший, потом средний. Те самые, что когда-то гоняли меня «гусями», а потом сами ушли за куском хлеба. Встретились мы на вокзале — чужие, повзрослевшие, пахнущие махоркой и железной дорогой. Обнялись, постояли, помолчали. Сняли на троих комнату в деревянном доме на окраине, в рабочем поселке — тесную, с общей кухней, где вечно пахло жареной рыбой и чужими щами, но это была наша крыша. Впервые за долгие годы я засыпала не за хозяйским шкафом, а за тонкой стенкой, зная, что за ней дышат свои.

Устроилась я поначалу в детский сад. Сунулась было в нянечки — руки-то к соплям и горшкам привычные. Но заведующая, Мария Петровна, — женщина с тяжелой рукой, но глазом острым — посмотрела, как я ловко чищу на кухне картошку, как варю компот для всей группы, и покачала головой. — Чего ты, девка, горшки таскаешь? — говорит. — У тебя рука легкая. Иди-ка ты на курсы поваров. Я тебя от работы на два месяца освобожу, учись.

И выучила. Я впитывала знания, как сухая земля воду. Через полгода встала у огромной городской плиты. Белоснежный халат, высокий накрахмаленный колпак, в руках — черпак. Я больше не была ничьей тенью. Я была тем, кто кормит. От меня теперь зависело, будет ли каша сладкой, а суп — наваристым. Это была первая власть в моей жизни, и она была теплой, пахнущей ванилью и жареным луком.

И тут, на изломе этой долгой, серой зимы моего одиночества, началась другая глава — молодость.

Через ту же Марию Петровну я и с девчонками сошлась. Познакомились в столовой, где они обедали. Подруга Наташка — хохотушка, глаза-уголья, коса вокруг головы уложена. И сестра ее, Клава — тихая, серьезная, с тяжелой русой косой до пояса. Мы быстро сблизились, сдружились. Днем — черпаки, котлы, раскладки, а как смена кончится — скинем казенные халаты, натянем свои выходные платья, губы свеклой намажем — и в парк, на танцы.

Вечером ноги сами несли нас на танцплощадку. Там гремел духовой оркестр, выдувая тягучие вальсы и разухабистые фокстроты. Пахло летним дождем, сладким дешевым вином

и пудрой. Кружилась голова не от усталости — от музыки, от взглядов, от того, что на тебя смотрят не как на рабочую единицу, а как на девушку.

Наташка хохочет, отбивается от какого-то курсанта. Клава стоит у колонны, строго поджав губы, но глазищи так и стреляют по сторонам. А я… Я стояла, прислонившись к шершавому стволу липы, и слушала этот оркестр. Внутри все дрожало. Городской шум, который раньше пугал до тошноты, теперь казался музыкой. Мои руки, привыкшие держать тяжелую выварку, теперь легко ложились на мужское плечо. Мои ноги, сбитые о камни уральских дорог, теперь сами отбивали такт по дощатому полу площадки.

Я больше не тащила сани в гору. Я летела под музыку, и ветер бил в лицо. Скрип старых рассохшихся половиц под каблуками, запах мокрой пыли после полива, липовый цвет и первый, робкий поцелуй в темной аллее — так началась моя молодость.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.